

Лидин Вл. Асыка // Лидин Вл. Люди и встречи. Страницы полдня. М.: Моск. рабочий, 1980. С. 233–236.

Алексея Михайловича Ремизова, образно говоря, можно было уподобить корневищу можжевельника, ответвлениями уходящего во все стороны, и нужно немало усилий, чтобы извлечь его из тесной связи с землей, а корневище нередко идет на искусные поделки.

Ремизов был весь с родной землей: русская речь, русская народная поговорка, русские сказки, легенды, былины, сказания, – вся Русь была в нем самом, и, когда порвались ответвления его корневища, Ремизов потерял и самого себя...

Как и зачем очутился он на чужбине, растерянный и ставший сразу несчастным, едва порвалась связь с родной землей? Он представлялся мне затолканным в вокзальной сумятице, где его, слабого и беспомощного, понесло с толпой, и он сел совсем не на тот поезд и не в ту сторону.

Таким впервые я увидел его в Берлине в 1922 году на полустанке эмиграции, которая позднее покатила в Париж, Белград или Прагу. Но вначале на ее пути была Германия, только недавно проигравшая первую мировую войну и утопавшая в инфляции, когда по плану Дауэса из нее выкачивали все соки... а тут еще никому не нужная русская эмиграция.

Ремизов жил в той части Берлина, которая называется Шарлоттенбургом, жил потерянный, не нужный даже русским издательствам, возникавшим одно за другим, а книги Ремизова были для издателей сущим разорением: кого в послевоенную распутицу и великие потрясения могли интересовать его «сказы» или «величания»?

Я пришел к нему с определенной целью: не следует забывать, что в ту пору Ремизов, а вместе с ним Андрей Белый своим несколько дремучим словом и стилизаторскими приемами влияли на некоторых молодых советских литераторов, а иные даже учились у них: впоследствии это стало называться «орнаментальной прозой».

Московское издательство «Современные проблемы» задумало выпустить книгу автобиографий советских писателей, привлекло меня к ее составлению, и для полноты отображения литературной жизни того времени было бы неправомерным обойтись без Ремизова и Андрея Белого.

С этим я и пришел к Ремизову в его шарлоттенбургское

жилище. В комнате Ремизова висели на нитках и веревочках всяческие изображения любезной ему нечисти, вроде чертенят и шишиг, а за рабочим столом сидел маленький, с ершиком волос, похожим на дикорастущий куст, русский писатель, ставший почему-то шарлоттенбургским.

«У нас в этом году елки нет! Месяц, как выгнали нас из квартиры и должны к 1 янв. выехать, ничего не нашли» – писал он мне впоследствии. «Складываю игрушки и книги. Куда идти – ничего не знаем».

Ремизов моему приходу нельзя даже сказать – обрадовался, мой приход просто всколыхнул и взволновал его; но это относилось не ко мне, которого прежде он и не знал, а к тому, с чем я пришел к нему: Ремизова, оказывается, не забыли в родной стране, не предали анафеме, не кинули в пасть чужеродных сил, хотят его автобиографию, его всеми мочками, пуповиной связанного с родной землей, горстку которой он прихватил на чужбину, и символично, что ее последнюю горсть именно советские люди принесли на его могилу, а умер он советским подданным и, несомненно, давно мысленно сжег свое «Слово о гибели русской земли».

Писатели, к которым я обратился с просьбой об автобиографии для сборника «Литературная Россия», прислали каждый по несколько страничек. Ремизов же прислал обширнейшую, написанную уставом, с цветными заглавными буквицами, я дорожу ею еще и как образцом каллиграфического искусства.

А в виде эпитафии к своему жизнеописанию он написал: «Россия – там – трудная – со столпами, словом, сердцем, мечтой и могилами».

Тронутый тем, что его имя не отринули на родине, он посчитал своим долгом подарить мне почти все свои недавно вышедшие книги с такими надписями: «Это история петербургская о театре от 1918–1921» («Крашенные рыла»), «Книга из слов – от цвета словесного» («Трава–мурава»), «Из посолони сказки разные» («Сказки обезьяньего царя Асыки»), «А это когда очень уж скучно станет» («Ё тибетский сказ»).

Вдобавок к своим щедротам он возвел меня в ранг «Кавалера обезьяньего знака I степени с мышьям хвостиком» и трудолюбиво выписал «обезьянью шарлоттенбургскую грамоту», которую «собственнохвостно подписал царь обезьяний Асыка», а две другие скрепляющие подписи «Полномочного резидента заящного ведомства» и «Князя обезьяньего парижского» я должен был взять в Москве у М. Пришвина и Алексея

Толстого. Сделать это для полноты формуляра я не успел, и на месте их подписей стоят зеленые крестики, проставленные Ремизовым.

Из всех русских писателей. Оказавшихся в эмиграции, Ремизов был самым неприспособленным, самым неприкаянным. Он оторвался от всего, что было дорого и нужно ему, остался с самим собой, стал сочинять и изобретать Алексея Ремизова со всеми его снами, в которые никто не мог поверить, потому что человеку не может столько сниться, и если даже и приснится, то он тотчас же по пробуждению забудет. Но «сны» были для Ремизова самовыражением, вместе с тем никто не мог оспорить их фантастичность – мало ли что может присниться человеку! – «сны» были лишь наблюдением самого себя со стороны, и он наблюдал себя со скорбью от своих утрат...

Имя Ремизова звучало в свое время как имя писателя своеобразного, хотя и трудно читаемого, но Ремизов и сам осознавал, что у него нет широкого круга читателей, а издатели со скрипом издавали его книги, не только недоходные, но и разорительные. Ремизов узнал немало горечи от этого полупризнания, а на чужбине присоединилась и голая нужда, когда Ремизову оставалось видеть воображаемые сны.

В 1922 году он писал мне: «Передайте тем писателям, кто поверит мне, – это я сам чувствовал всегда, а тут живя, на примере увидел *германском*: литература есть цвет России, и всякая веточка – краса России *и надо только радоваться* *вскому новому дарованию, оберегать и помогать*, а не подсиживать и «ругать», как это было у нас в обычае, писатель к писателю хуже волков, совсем забывают, что грызня – не украшение России, а обцарапывание России, забывают Россию».

Ремизов прожил трудную, путаную, несчастливую жизнь, но в этой жизни все было обращено к истокам русской словесности, однако с наивной мыслью о сохранении в неприкосновенности древних речений и непониманием, что в культурной истории народа одни речения навсегда уходят, а другие по-новому утверждаются. Он был выдумщик и фантаст, верил в свои выдумки, бряцал на деревянной лире с деревянными струнами, убеждая себя, что они звучат, как былинные. В своей сути это было наивно, никого в соблазн не вводило, а писателя Алексея Ремизова нужно было утешить в его горестях, и он утешал его как мог...

Несколько лет спустя, уже в Париже, куда в основном перекечевала эмиграция, мы трижды уславливались с Ремизо

вым о встрече, но встреча почему-то не состоялась, и о парижской жизни Ремизова я знаю только из книги, выпущенной его большим другом Наталией Кодрянской и приславшей мне эту книгу. Я узнал, как бедственно, нище жил очень больной, ослепший русский писатель, в оккупацию Парижа часами стоявший в очереди за бесплатной похлебкой и написавший о себе, что научился спать стоя, как лошадь.

Мы собираем в кошницу русской литературы все лучшее, оставшееся даже в пустыне эмиграции, отстраняя ошибки не понявшего новой истории своей страны писателя, и пусть это даже малый цветок, для полноты гербария культуры нужен и он. Если бы вручить Ремизову изданный недавно у нас его однотомник, он со своими «подстриженными глазами» мог бы лишь ощупать его, но и на ощупь понял бы многое – прежде всего, что родной народ сохранил его в славном списке русских писателей.

А «собственнохвостно подписанная обезьяним царем Асыкой грамота» хранится у меня с несколькими горестными «шарлоттенбургскими» письмами Ремизова.